## Ведунья

Тоненькими чёрточками, жирными точками плетётся чёрное кружево. Плетётся, плетётся, переплетается, перекликается с птичьими криками, с чёрными воронами, мудрыми птицами. Переливается с гладкими перьями, с ливнем косым осенним. Впрядается в нежную плоть чёрное кружево. Вплетается, вгрызается острыми зубьями, глазами-бусинами. Шипами грызучими, лютыми, терновыми впивается в кожу, пьёт кровь-водицу красную, густую. Вживается криком, стоном. Тихим, неслышным, слабым. Красивое чёрное кружево ложится ладно, как родное, на чело белое. Зовёт смерть-матушку, кличет смерть-батюшку. Укрывает землёю, что твоим пухом белым, лебяжьим, из лебедят нерождённых надёрганным. Плачет, криком кричит надрывным, на дно тянет. Птичьими лапами цепко держит, не отпускает. Манит в своё болото, засасывает... Как же тяжело дышать!..

\*\*\*

Девчонка была не жилец. На груди повыше сердца уютно свила гнездо чёрная змея, согревая два яйца. Ещё неделю-две — и вылупятся детки. Будет им вкусная еда. Ехидна лениво приподнимала плоскую узкую морду, оглядывала суетливых людей и вновь свивалась удобнее тугими кольцами. Цеплялась хвостом за тонкую с синими прожилками шею покрепче и для надёжности впивалась зубами в сладкую плоть под ключицей.

Целительница оторвала взгляд от чёрных матовых глаз под кожистыми веками и посмотрела на гостей.

Молодая мать, сама ещё девчонка. Расхристанная, потерянная, в глазах — невыплаканные слёзы. Тулуп овечий не по размеру, запахнут на полной груди, тонкие руки дрожат, придерживая полы, юбка пёстрая в пол собирает подолом редкие сухие травинки.

Не успела подмести избу — явились с утра — теперь красней вот.

Отец ребёнка — местный кузнец. Высокий, статный, ладный. Опора, крепость, стена каменная. За таким не страшно жить.

Да достался он, поди ж ты, младшей сестрице в обход старшей! Это срам-то какой на всю деревню: чтобы меньшую свели со двора наперёд! Конечно, в лицо никто не скажет, улыбаются, поздравляют. С ехидцей спрашивают, когда ещё свадебка. А за спиной шушукаются, все косточки перемыли до глянцевого блеска.

Третья гостья была сестра. Справная девка. Но тёмная, с червоточиной в груди. Того и гляди, черви скоро до нутра прожрут. Мошкара чернотой вилась у роскошных кос, уложенных короной на голове. Как тень — и красиво, и жутко, аж дрожь пробирает. Уверенная в своей правоте, даром, что чужого мужика хотела свести. И у кого — у сестры родной. Стоит, подбоченясь, напоказ. Руки в боки, глаза — бессовестные, дерзкие. Влажные, как у важенки. Мол, не боюсь я тебя, ничего ты мне не сделаешь, а сестрица младшая не поверит твоим наветам, злым да липким!

А на столе — девчонка, самое большее месяц от роду. Из тряпья выпросталась тоненькая ручка — как веточка. Белая, до синюшности кожа, которую синей паутиной раскрашивают просвечивающиеся венки. Синюшный же треугольник опоясал рот. Дыхание хриплое, надрывное. Попробуй, подыши с эдакой змеючиной на груди. Давит, пьёт кровь, цедит по капельке жизнь хрупкую, растягивает блаженство.

Целительница глядела в такие же наглые, как у сестры, змеиные глаза. Как же она не любила подобное!

— Ведьма, помоги, будь человеком! — глухо, не сказала — прорыдала мать.

— Да не ведьма я, — устало поправила хозяйка, — целительница. Называй меня Варварой.

Молодая девчонка стрельнула глазами и склонилась почтительно:

— А я — Агафья, старосты дочка меньшая.

Да. Старосты. Вон оно что, вон оно как! Чай, у простого пахаря дети не якшаются с чёрным колдовством, не наговаривают на сестёр проклятия, не завидуют так, что в могилу стылую свести готовы… Да и девка — дура, раз вываливает первой встречной своё имя. Нельзя так!

Да, не ведьма она, верно Варвара заметила. Так, немного видит, чуть-чуть лечит, недалеко знает наперёд. У ведьмы — у той мудрости на три поколения наберётся да силы немерено. Глазом бы не моргнула, как змею с груди согнало и прахом рассыпало! Вот прабабка её, Бажена, та была истинно ведьма. Варвара в ту пору ещё девчонкой бегала, ни разу крови не ронявшей, а прабабка уже встать не могла, силы к исходу подходили, жизни в жилах всё меньше и меньше становилось с каждым днём. Сейчас думается, лет ей было далеко за сотню. Люди столько не живут. Только ведьмы. Да и тех по пальцам перечесть.

— Ежели почуешь, что силов нету, — учила бабка Бажена, лёжа на лавке, — и как будто на грудину каменюку накатили, тогда первое дело — наговор плести. Я научу тебя, простой он, в три слова. Только кровью скрепить надобно, хошь — своей, хошь — чужой, подкормить, да имя истинное знать. Я — Варвара — сказать так не моги, под страхом смерти лютой не смей! Никогда не знаешь, какой камень у чужого человека за душой припрятан. А вот сама запоминай, коли тебе так представятся.

Липкие, колючие слова тогда сбежали с Варюши, только бабка закончила поучать, и затаились где-то на краю души, забытые и ненужные. До поры до времени, пока не почуяла, что «силов нету». То ли на погоду, то ли продуло где, но в ноги будто соломы набили, а голова гудела как деревенский колокол. За калиткой послышался голос Ганки, местной молочницы. В памяти всплыла первая встреча: «Я — Ганка, молочница. Могу молока тебе носить по утрам раз в неделю…». И, поди ж ты, слова сами прыгнули в голову, запросились с языка наружу.

Наговор сорвался легко, как «Доброго утречка», поплыл, окутал Ганку, приклеиваясь намертво — не отдерёшь. Улыбаясь, Варвара поправила шаль на груди, сколотую булавкой с простым «кошачьим глазом». Незаметно расстегнула украшение, царапнула палец, надавила на подушечку.

— Давай сюда бидон. — Сунулась она помочь и взяла за руку гостью, обмазывая ту каплей крови.

Потом ушла в закуток, вынесла точно такой же бидончик, только чистый, и всплеснула руками:

— Ой, глянь, кровь на руке. Поди, оцарапалась где? Давай, водицы тебе полью, смоешь, чтоб не замараться.

Ганка завертела рукой, по-простецки слизнула кровь, вытерла о подол. А Варвара увидела, как тонкая нить начала наливаться силой, присосалась к чужой руке, запульсировала, задышала. Из ног ушла слабость, в голове просветлело. И вдруг накатила дурнота, но уже от проделанного. Целительница чувствовала себя пиявкой: она впервые забирала, а не давала. Грызла грязным ртом живую плоть, чавкала, захлёбывалась, напитывалась чужой силой… Но молочница давно ушла, а идти в деревню для снятия наговора не хотелось. И потом, Ганка — дородная тётка, от неё не убудет.

Варвара подошла к надсадно дышащему младенчику, провела рукой над тщедушным тельцем. Сзади рвано выдохнули — девчонка, кузнец? Ладонь тут же закололо от чуждого колдовства: проклятие липло, чуя чужую силу через край, пыталось сожрать побольше, набить ненасытное чёрное брюхо. Да, сестрица милая сплоховала: или платы пожалела, или исход не рассчитала до конца. Ослепшая от грешной любви своей окаянной, старшая старостина дочка заблудилась в стыдном желании обладать чужим мужем. Красная пелена любострастия затмила разум, толкая на бестолковые поступки. Дождалась бы, когда Агафья разрешится от бремени, тогда и наводила бы порчу. И гарантия почти чистая, без промахов, и ребёночек невинный не задет. Да и к кузнецу подойти было бы с чем: а хоть и под видом заботы о дитяти да утешения от горя-утраты.

Но нет ведь, сделала всё нахрапом, прокляла брюхатую девку, а толку? И младенчика загубила, и сестра живее всех живых, и кузнец ещё сильнее жены держится.

Хуже нет занятия, нежели копаться в чужом грязном белье. Целительница попробовала потянуться к ехидне, сманить на себя, увлечь своим подношением: на-кось, попробуй, у меня вкуснее. Куда там! Змеюка огрызнулась, лязгнула зубами, мигом отсекая тянущуюся руку, и ещё плотнее придушила ребёночка, так что девчонка захрипела, засучила кривенькими слабыми ножками.

Агафья вскрикнула, зажала руками рот. Кузнец шагнул вперёд, будто бы защищая. От кого?! Пригретая тварь в сестринском обличии притворно покачала головой, процедив сквозь зубы:

— Смотри, Агафка, сгубит тебе дочь до смерти. Вспомнишь тогда меня!

Агафья подняла глаза, доверчивые, больные, как у оленёнка. Она и сама была как оленёнок, робкая да тихая. Вот и сейчас прошептала едва слышно:

— Не сгубит, Власта. Не ведьма — целительница ведь!

Варвара в упор глянула на Власту — вот ведь когда имечко к лицу! — а после махнула рукой, приглашая всех сесть, чтоб не стояли над душой.

— Сейчас-сейчас, смеси дам сухой, травки там да корешки измельчённые. Ты, Агафья, молока своего сцеди чуток, щепотку кинь травок да дочери своей выпои. Потом к груди приложи, — целительница рассказывала и смешивала снадобья из пузатых горшочков, — не забудь. А то травки горькие, плакать станет.

Ссыпала готовую смесь в тряпочку, завязала узлом, а потом спросила обыденно:

— Мне пробовать надо?

Агафья удивлённо заозиралась: на мужа, на сестру. Жизни не нюхавшая девчонка жила по каким-то своим, ещё детским заветам. И мыслить не мыслила, что ведьма запросто может ребёночка отравить: за гроши лишние или по натуре злобной. Поэтому когда целитель пробовал своё же зелье — считалось, что оно не убьёт. Хотя… гарантий не давало.

— Пробуй, — прошипела Власта.

— Не надо, — одновременно сказал кузнец и добавил: — Ежели навредишь, голыми руками удушу. И не помогут тебе никакие тёмные боги.

Варвара кивнула. Не ту душить собрался, мил человек.

— Ровно через неделю придёте снова. Только без сопровождения: мать, отец, ребёнок. Буду лечить. Травы давать, чтоб неделю эту прожила.

Тянуться к ехидне голыми руками бессмысленно. И дитё сгубит, и проклятье не сведёт. Какая ж змея добровольно сойдёт с насиженного местечка, тёплого, сытного?! Надо прежде свить ей гнездо новое, обмануть, приманить пряником. За неделю как раз управится.

— Тряпку оставь, в которую дитё завёрнуто. Она пахнет твоей дочерью. Болезнь буду на неё сводить.

Агафья словно в полусне глядела, как кузнец твёрдой рукой взял дочку.

— Тряпицу поискать? На улице свежо.

— Не надо. В рубаху заверну.

На пороге он всё же обернулся и поклонился.

— Спасибо тебе, ведьма-целительница. Здрава будь!

Варвара отстранённо кивнула, прикидывая, как лучше вязать гнездо. Наверное, надёргать пожухлой травы, пока не выпал снег. И в неё уже вместе с наговором вплетать разорванную на узкие полоски тряпицу. Змею бы ещё достать где-нибудь живую, чёрную. Тогда можно обмануть гадину, поманить, привязать к родной душе. Да только в спячку все ушли, попрятались в норы, схоронились под стогами — на дворе глубокая осень.

Дни бежали быстро, перетекая один в другой как патока. Кажется, младенчика со змеёй на груди приносили только вчера, глядь — прошла, пролетела седмица, стучатся в двери снова.

Варвара разговаривала с Агафьей, вызнавая мелочи.

— Грудь сосёт?

Девчонка заалела пятнами на скулах от такого близкого вопроса, но ответила робко:

— Плохо. Устаёт. Видимо, тяжко трудиться. Я сцеживаю, докармливаю.

Хозяйка кивнула. Оно и видно: казалось бы, куда худеть ещё больше, но младенчика теперь было на просвет видать. Она усадила мать в единственное кресло, подала ей шаль овечьей шерсти. Следом всунула в руки дочку.

— На вот, держи. Крепко. Не руками держи — душой, поняла? Душой и сердцем. По-другому не удержим!

Кузнец незримо стоял в сторонке, но и его прошибла дрожь. Он испугался сразу за всех: и за дочку, в которой жизнь едва-едва теплилась; и за красавицу-жену, так сильно переживающую, что того гляди, сама угаснет от переживаний своих непомерных; и за ведьму — вдруг не выдюжит!

— Мне выйти? — прохрипел он.

Варвара вздрогнула, будто только его заметила.

— Нет. Сядь туда. И тоже помогай как знаешь. Проси, молись — что хочешь делай.

Мужчина кивнул, опускаясь на трёхногий стул.

Маленькую комнатку незримо заполонил напев, пришёл откуда-то извне, и сразу повеяло разнотравьем, спелыми бабушкиными яблоками и робким теплом. Казалось, пели голые деревья за окном и жёлтая, прибитая дождём трава, деревянные стены сруба и тяжёлая тканая скатерть.

…Тоненькими чёрточками, жирными точками плетётся, выплетается кружево. Плетётся, плетётся, переплетается, перекликается с гадами шипящими, с гадами ползучими. Переливается с чешуёй блестящей начищенной, с холодами зимними, стужей лютою. По каплям выводится с плоти нежной чёрное кружево. Вплетается, вгрызается зубьями острыми в гнёздышко новое, тёплое, сытное. Косит по сторонам глазами-бусинами. Шипы грызучие ломаются, распускаются лепестками цветочными, яркими, красными. Кровь-живица бежит весенним ручейком по жилам, питается от отца-матери, согревается солнышком вешним, денёчком погожим, безветренным. Мрёт колдовство лютое, гибнет проклятие смертное, тянутся к свету росточки зелёные робкие…

Дверь хлопнула, как в колокол ударили, тягучую мелодию прервал гомон людской. Комнатёнка мигом набилась деревенскими, которые нестройными голосами перебивали и подбадривали друг друга.

— Гля, гля, вон она! Колдует мерзавка!

— Посолонь заходи, лови её, уйдёт ведь, паршивка! В окно и огородами!

— В пасть ей тряпья набей, чтоб мычала только, пока дитё невинное не сжила совсем со свету!

Дюжие мужики мигом связали растерянную Варвару, намотав верёвок столько, что та с трудом могла шагать.

Агафья как совёнок вертела головой, ничего не понимая в этом гвалте. Кузнец уже стоял перед женой, прижав к себе дочку.

— Тихо все, ну?! — зарычал он. — Чего тут устроили?

Вперёд шагнул кожевенных дел мастер. Он покупал у Варвары вытяжки из коры дуба для выделки шкур, и потому смотрел на пол, стены, кузнеца — но только не на ведьму.

— Чего-чего, не видишь? Ведьму словили, судить будем. Дай ей волю, всех детей изведёт в деревне, как курят.

— Куда изведёт, болван ты эдакий?! — взревел кузнец. Девочка проснулась, захныкала, и он продолжил тише: — Я сам же пришёл, ну? На, гляди вон, дочка моя дышит нормально, без хрипов и свистов! Неделю назад думали — не дотянет!

Из-за кожемякиной спины подлаивала Власта:

— Изведёт, знамо дело, им, ведьмам, невинные младенчики как семечки. Сжуёт, шелуху плюнет, кровушкой умоется — и вот тебе снова красавица без единой морщиночки. Потому и не пустила меня, гадина! Говорит, отец с матерью только! Потому что разум им застила, заморочила. А вы и рады обманываться, дурачьё!

Агафья начала что-то говорить в защиту целительницы, но куда ей своим робким голосочком такую прорву мужиков переговорить. И слушать не стали. Посоветовали лицо окатить родниковой водицей, а лучше — голышом окунуться, смыть ведьмин навет тягучий. Мигом разум прочистится!

— А ты иди давай! — Варвару незло ткнули меж лопаток. — Посидишь в порубе денёк-другой, может, совесть взыграет, дык признаешься. Жечь тогда не будем. Повесим просто.

По одному селяне потянулись из маленького домика, стоящего на отшибе. Последними вышли Агафья с кузнецом. Под креслом осталось сиротливо лежать сплетённое из пожухлой травы да тряпичных ленточек гнездо, способное вместить разве что горлинку.

Два дня деревня гудела растревоженным роем диких пчёл. Агафья видела, что самочувствие дочки улучшилось, хоть и понимала, что не до конца свели болезнь. Но её никто не слышал, отмахиваясь как от назойливой жирной мухи.

— Да-да, ты ведь мать, оно и понятно!

А Власта так и вовсе припечатала:

— Больно ты выгораживаешь ведьму, сестрица любимая. Может, в сговоре? Того и гляди, тебя рядом определят, чтоб не скучала подруженька!

Кузнец больше молчал и наблюдал. На базарной площади наспех сколачивали помост. Люди добрые несли хворост и дрова. Место вокруг обсыпали землёй да речным песком. Кто-то вязал факелы, обливая их смолой — чтоб с разных мест занялось.

Жёнина семья готова была спалить ведьму собственноручно, медленно прожаривая, как свинью на вертеле. Агафью, неожиданно вставшую на защиту, и вовсе забили, запугали.

— Ты за дочкой гляди, а мы ужо тут сами разберёмся. Ежели что приметишь — говори, мы-то из паскудины подколодной всё повыбьем!

Кому верить, кузнец не знал. Навряд ли родня станет желать зла. Но и целительницу, думалось, в поруб услали зря. Злата, доченька, за два дня налилась румянцем, да не тем, болезным, ярко цветущим пятнами на худеньких скулах, а здоровым румянцем сытого младенца. Кашель сгинул бесследно, дыхание выровнялось, стало чистым, без хрипов — любо-дорого слушать милое сопение спящего дитя. Когда кузнец брал Златушку на руки, под ладонью ровно билось сердечко.

Кроме того, он второй день думал думу. Когда целительница пела свою ворожбу, вдруг помстилось, что где-то рядом ворочается змея, чёрная, гладкая. Ворочается недовольно, словно её сгоняют с насиженного теплого местечка. Как будто отбирают вкусную еду, вырывают из пасти, а ей только и остается, что щёлкать зубами. А потом вдруг показалось, что змея хвостом обвила шею дочурки и зубами вцепилась чуть выше сердца. Её тянут за гибкое тело, а она лишь глубже запускает ядовитые зубищи.

Кузнец тогда вздрогнул, и видение тут же пропало.

Блазн не давал покоя, крутился в голове, как мельничное колесо дядьки Ждана, пока наконец не пригнал его под оконце к порубу:

— Ведьма! — тихо позвал он.

Молчание затянулось настолько, что ответа он уже не ждал. Поднялся, собираясь уходить.

— Да не ведьма я, — наконец донёсся усталый голос.

Гость прислонился лбом к срубу. Спросить напрямую? Неудобно. Её и без того из-за Златушки вон сжечь готовятся. Он знал, что чхать хотели деревенские на ведьмино признание, раз помост собирают — не пропадать же добру! Вызнавать у приговорённой к смерти подробности того, за что её не сегодня-завтра казнят…

Но тут Варвара снова подала голос:

— Ты чего пришёл, Светозар? Навряд ли справиться о здоровье да лишний раз ведьмой обозвать!

Мужик вздрогнул, услышав своё имя, несмотря на то, что имя единственного в деревне кузнеца знала самая последняя собака. Да и с ведьмой он знался в силу своего ремесла. Потом махнул рукой — была не была! — и вывалил как на духу. И про змею, насосавшуюся крови; и про то, что блазнилось, будто на его дочке сидела чёрная гадина; и про то, как её отрывали, тянули куда-то…

— А яйца не видел, а, кузнец? — голос Варвары стал ближе: видимо, тоже подошла к окну. — Правду люди молвят, будто кузнец ходит опричь, с силами знается, наособь живёт. Мать родная змеюку проглядела, хотя сердце материнское — оно всё видит! — а ты узрел! Ну, расскажу тогда, может, не отмахнёшься от слов моих, не обвинишь в навете злом.

Светозар долго слушал, что говорила ему ведьма. Хотя, нет. Целительница. Кивал, хоть она и не видела, да на ус мотал. И думал, как бы так уговорить Агафью уехать отсюда подальше. Власта и так влезла по самую макушку в место отстойное, кто знает злую бабу, чего она ещё надумала. Дитя не пожалела невинного, да и не чужого — разве оставит теперь сестрицу в покое?! Он задумался настолько, что начал рассуждать вслух, потому как Варвара предложила:

— Скажи, что место хочешь сменить, не лежит тут у тебя душа, не куётся металл.

Точно так и сделает. И потом, она ведь права: любой кузнец с иными силами знается. Потому и стоят кузни в стороне от жилья, чтобы мог творить хозяин ему одно ве́домое волшебство, заговаривать душу металлу да делиться силой и умением. Здесь кузнец сродни ведьме: у обоих бьётся жила волшебная, только Варвара ею лечит, а он — плавит металл.

— И вот ещё что, Светозар. Поди в мой домик, в ту самую комнату. Под креслом, где жена твоя сидела, возьми сплетённое гнездо. Оно из травы да тряпья. Только голыми руками не бери. Да мне принеси.

Мужик помедлил, но всё же обещал. Вполне возможно, она выкинет какой-нибудь крендель, нашлёт на скотину сглаз или заговорит посевы. Или того хуже, замкнёт чрева женщинам, и деревня вымрет. Но верил в надуманное с трудом. Всё-таки ведьма больше похожа на человека, нежели на тварь бездушную. Опять же, Златушке вон помогла!

— Ещё хочешь что-нибудь?

— Нет, кузнец, остальные мои хотения не в твоей силе, — она рассмеялась, а затем добавила совсем тихо: — То, чем будешь брать гнездо, спали потом. А хоть бы и на моём костре. Всё. Иди. Пока тебя рядом не прикрутили.

Жечь ведьму решили ввечеру, чтобы костёр смотрелся красивее. К тому времени дров наносили — на пятерых хватит, одной досталось. Староста похаживал гусем: вытянув шею, перетаптываясь с ноги на ногу, колыхаясь необъятным пузом. Рядом шакалёнком семенила старшая дочка Власта, всё поглядывала на дрова: сухие ли? Займутся ли сразу? Агафью с дочкой Светозар услал к своим родителям в соседскую деревню. И разговаривать не стал, усадил на телегу к бортнику, рядом — короб с вещами, и наказал дождаться, пока сам приедет. Старостиха-мать верещала, что кровинку забирают, Власта ходила смурнее тучи, сетуя, что привыкла к сестрице младшей, любимой. Но кузнец, до того казавшийся мягкой глиной, нежданно-негаданно проявил характер: жахнул по столу и сказал, что Агафья едет. А кто против — пусть утрётся. Тут и староста притих, зыркая на жену, и Власта прекратила голосить, как баньши.

Солнце спряталось почти наполовину, как на единственную улицу повалил народ, будто горох рассыпали. Деревня загудела как дикие пчёлы. Выводили из поруба ведьму.

— Рубаху стяни со стервы страшной, пущай стыд-то глаза колет!

Засвистели, загоготали в поддержку. Рядом разбилось тухлое яйцо — и ведь нашлось же!

— Ты осторожнее там, болван, я же рядом! Не то макну в отхожее место! Погодь, пока к срамному столбу привяжут, тогда хоть закидайся!

— Привязывать нельзя, она бечёвку перегрызёт, мигом волчицей обернётся да в лес дрыснет!

— Давайте приколотим, — внёс ценное предложение пастух, — как вывеску на едальне бабки Доброгневы!

Кто-то пихнул целительницу, та споткнулась и упала на колени. С головы свалился невзрачный венок, плетёный на ребёнка, из какой-то травы да серых тряпок. Варвара подняла упавшую вещь, выпрямилась с достоинством да так глянула на толкнувшего, что тот мигом отстал от толпы. И снова надела венок, что корону.

Приколачивать всё же не решились, опасаясь, что мерзавка от боли потеряет сознание и не сможет прочувствовать всю силу огня, неистовую и очищающую. Просто привязали крепко.

— Ну, молись, ведьма, своим тёмным богам, — крикнул староста и первым поднёс факел.

Хворост вспыхнул сразу. Робкий огонёк занялся, жадно поедая сухую вкусную пищу. Через миг он уже пожирал дерево, треща искрами и подбираясь ближе к привязанной женщине. Кричала толпа, неистовствовала в отсветах костра, кружила вороньём. И тихая, словно смерть, песня закрутилась, заполонила всё пространство над местом казни. Разлилась, впиталась в кружащих людей. Зазвенела ручьём весенним, разнося перекаты в каждый уголок…

…Тоненькими чёрточками, жирными точками плетётся, выплетается кружево. Плетётся, плетётся, переплетается, перекликается с водами вешними, с солнышком жарким, с осенним косым ливнем…

\*\*\*

У князя было красивое имя, чужеземное — Анлаф. Оно лакомо перекатывалось на языке, оставляя после себя ледяное послевкусие, как если бы раскусил мятный леденец, а после запил студёной водой. Князь звал себя ярлом, а само слово «князь» выговаривал коротко, как будто вырубал: «кнез». Ярлом его никто не называл, а имя для местных звучало непривычно. Зато тутошнее «князь» прилипло ближе родной кожи. Анлаф и махнул рукой: пусть зовут, как знают, тем более, князьями тут величали ярлов, так что невелик убыток, не зазорно.

Он приплыл на деревянном судне с чудны́м названием — драккар. Нос лодьи заканчивался искусно вырезанной, хищно ощеренной мордой дракона. Так бы и уплыл Анлаф обратно, расторговавшись, к берегам стылым, продуваемым северными ветрами, да встала нужда перековать лошадь. Захромала Гунхильда, жалко стало верную животину, она служила ещё на родине. Благо встретил стадо коз и пастушонка при нём. Тот и направил в ближнюю деревню, уверив, что кузнец у них имеется.

— Не сумлевайся, господин князь, кузнец хороший! Не попортит тебе лошадку, вот те правду говорю!

Кузнец и вправду оказался хорошим, как и обещал мальчонка-пастух. Перековал лошадь споро, а хозяина оставил ночевать. За столом прислуживала кузнецова дочка. Глянула своими синими озёрами — как в болото утянула. Косы русые, что змеи толстые, струились по спине, побрякивали начищенными украшениями: да не медью — серебром. Ручки белые, нежные сновали ловко, ставя горшок с пряной мясной подливой и пареной гречневой кашей. Щёчки как яблочки наливные, так и пылали карминовым цветом.

— Отведай князь, не побрезгуй. Еда простая, да полезная. Наливочкой вон запей вишнёвой. Вишню, поди, дочка собирала! — хитро поблескивая глазами, улыбался во весь рот кузнец-хозяин.

Пропал князь. Как в море своё холоднющее ухнул с обрыва фьорда, до донышка самого донырнул. Грудь сдавило как стальным прутом при самой лучшей пытке. И мясо съел — не заметил, и наливочкой запил, как водицей, всё на девку справную глядел, ласкал взглядом. Придумывал, какой бы гостинец поднести, чтобы и не обидеть и завлечь. Перебирал в памяти каждый взгляд, робко брошенный из-под ресниц.

Утром, только солнце выкатилось, засобирался и гость. Поклонился поясно хозяевам, даром что люди простые, кузнецовой дочке шепнул пару слов, так что снова расцвели щёчки-яблочки, и уехал.

Да и вернулся после через две седмицы — дочку выпрашивать.

С той поры три года пролетели как три дня. Анлаф не мог нарадоваться на умницу-красавицу жену. Всё спорилось: и достаток жил в доме, и болезни худые обходили стороной, да только не слышно было топота детских ножек по деревянному полу. Не заплетали детские пальчики бороду отцову в тоненькие косички, не цепляли к ним яркие бантики. Не смеялись следом на притворное возмущение сурового отца детские мордашки, измазанные украдкой съеденной сметаной. Тихо было в доме. Глухо, как в старом пустом нутре драккара, отходившем свои дни. Князь хмурился. Ходил тишком к лекарю, и к местному, и к государеву. Пожимали плечами учёные люди: здоров был ярл, хоть паши на нём.

Спал с лица, похудел Анлаф. Смурнее тучи стал. Поглядывал на жену-красавицу искоса, пока думал, что не видела. Думы чёрные затопили голову — не выплыть. Говорил коротко, резко — как ветер студёный, с родины прилетевший.

Да только жена подмечала всё. И взгляд косой, и слово хлёсткое. Угасала сама, душу вытравили сомнения. Не выдержала. Кинулась в ноги, расплакалась:

— Не держи в себе, чем провинилась — скажи как на духу!

Вздрогнул князь, на жену глянул по-новому. Похудела она, румянец сбежал с круглого личика. В глазах-озёрах застывший колкий лёд, губы дрожат, припухли — только не от жарких поцелуев. Да и улыбки давно не было, всё взгляд в пол или робко, украдкой. Вздохнул. Поднял с пола, усадил на колени.

— Тихо, люба моя. — Широкая мозолистая ладонь гладила шелковистые  косы. —Не провинилась ты ни в чём. Печаль в груди гнездо свила, ест холодом сердце. Это от того, что детишек нет у нас. Вот, ходил к лекарям, говорят, здоров как бык. Думал, согласишься ли ты, чтобы и тебя посмотрели.

Притихла жена, обняла крепко, щекой к плечу сильному приникла. Лёд в глазах растопился, пролился слезинкой, впитался в рубаху мужнину. Когтистая лапа чуть попустила душу, позволяя сделать вздох. Хорошо.

Лекарь был маленьким, с седой бородкой. Умный взгляд серых глаз проникал, казалось, насквозь, и Анлафу  представлялось, что он только глянет на жену — и тут же скажет приговор. Злата глядела по очереди на обоих мужчин и всё больше краснела, слыша их разговор.

Лекарь, пользовавший саму государыню, угрюмо ходил из угла в угол по светлице. Хмурился, жевал губу, дёргал длинный ус. Злата давно вышла и сидела перед домом на скамье, кормила крошками слетавшихся голубей. Анлаф же наблюдал за лекарем, становясь смурнее и смурнее, как зимнее северное море.

— Ну? Не тяни, старик, как есть скажи!

— Да скажу, чего ж не сказать... — он огладил бороду чуткими пальцами и продолжил: — Не думал я, что такое могу присоветовать, но... Здорова жена твоя, как и ты. Не хватает моих знаний, чтобы определить причину вашего горя. А совет такой: бери её да к ведьме веди. Не сплошь попадаются с гнильцой, есть и толковые.

Князь удивление показал лишь вскинутой бровью. Вот уж! Услал так услал! Но что не стал врать и назначать бесполезные микстуры, а сразу признал, что не ведает причины — за то земной поклон. Не каждый лекарь может наступить собственной гордости на горло и добровольно признаться в бессилии. Да ещё и отправить к ведьме.

— Деревеньку знаю, что на излучине старой реки стоит, там живёт ведьма. Хвалят бабу, не сгубила пока никого. Сходи, покажи жену.

Анлаф медленно кивнул. Отсчитал серебра, оставил на краю стола и вышел вон.

По пути заехали к отцу-матери, Злата очень просила. Кузнецу поклонились бруском дорогого сплава, хозяйке дома — отрезом красного шёлка. Князь дождался, когда жена станет готовиться ко сну, да выложил всё как на духу, и про детишек, и про лекарей и про то, что к ведьме путь держат.

Мать с отцом переглянулись. Кузнец понурился, проговорил:

— Ты, Агафушка, стол нам собери, да поди к дочери, поболтай свои бабские разговоры. А мы тут сами потолкуем, — дождался, пока жена вышла, и продолжил: — Тут такое дело, князь. Не думали мы, что дойдёт до такого, вот и не посвятили ни тебя, ни дочку. Злату обратно возьмём, если надумаешь отдавать.

Теперь настала очередь кузнеца рассказывать как на духу: и про змеюку чёрную на груди, яйца высиживающую; и про жёнину сестрицу окаянную; и про ведьму да наговор; и про костёр, где сгорели Варвара с новым гнездом на голове.

— Злата с той поры и не кашлянула ни разу, понимаешь? А оно вон во что вылилось, вишь как! Лекари тут не подмога, один путь — к целительнице, куда и услали тебя уже. Сходи, ежели толковая попадётся, авось и скажет, как беду обойти.

Анлаф, вернувшись к жене, обнял её жарко, до хруста косточек: если бы не сгоревшая ведьма Варвара, не встретился бы он со Златой. Так бы и ходил по свету в одиночку на своём драккаре. В конце концов, мало ли детей-сирот бегает? У них ко двору прибился найдёныш, два годика от силы, мать этой зимой слегла с грудной жабой да и померла давеча. К себе можно взять, мать-отец не те, что родили, а те, что вырастили.

Ведьма, указанная лекарем, жила в деревеньке ближе к лесу. Одинокий домишко выглядел добротным, сверкал недавно тёсанными брёвнами: видимо, целительницу уважали тут, раз справили жильё. Дом окружал высокий, в два роста забор, с широкой калиткой и новой ажурно кованой ручкой.

Целительница оказалась древней старухой с седой нечёсаной гривой. Только глаза смотрелись жутко: как будто мёртвым было всё, кроме них. Старуха с порога поцокала, обошла Злату, оглядывая её с ног до головы, и сказала, как топором обрубила, даже не пригласив войти:

— Не понесёт, как ни старайся.

— Почему? — прохрипел Анлаф.

— Почему-почему…

Старуха вдруг схватила Злату за руку и невнятно что-то забормотала. Бормотание переросло в напев, но слова тянулись непонятные, старинные, а значение их угадывалось скорее нутром, нежели разумом. Анлаф вдруг ухнул в прошлое: Злата скукожилась до размеров младенчика, на груди у неё свернулась змеюка чёрная, охраняя два яйца, рядом стояла не теперешняя ведьма-старуха, а молодая красивая Варвара. Варвара пела наговор, а змея огрызалась и кидалась на руку.

Тут хозяйка вскрикнула и оттолкнула Злату. Глаза сплошь стали белыми, рот перекосило, старуха закрутилась на месте, забормотала:

— Мёртвое мясо, мёртвое! Сгинь! Чур, меня!

Она без сил свалилась на широкую лавку, а князь, прижимая к себе жену, с удивлением наблюдал, как хозяйкины глаза снова окрашиваются грязно-зелёным цветом. Наконец старуха пришла в себя, глянула исподлобья на дрожащую молодую женщину и кряхтя встала.

— Девка твоя мёртвой видится мне. Рано та целительница померла, времени на полноценный наговор не хватило. Но жизнь она спасла, этого не отнять, знающая была. Жаль такую. Знаешь, какое самое сильное проклятье? Материнское и посмертное. Вот целительница плела посмертное, завязала на своей смерти его, оно и держит на этой стороне жену твою. Но дитё не зарождается, потому что внутри выедено всё змеюкой чёрной. Ежели тётка родная не подсуетилась бы, целительница та вытравила бы черноту, залатала дыры, наросло бы мясо новое, и смогла бы понести потом, родить ребёночка.

Замолкла старуха, поджала растрескавшуюся губу. Вязкую тишину нарушало только тихое всхлипывание Златы. Анлаф же гладил её по волосам, успокаивая, да что-то шептал в ушко.

— Не реви, дура-девка, — оборвала целительница. — Варвара, сгорая на костре, все силы отдавала, чтобы ты выжила, а ты теперь кукситься будешь?

Злата обернулась, сверкая слезами в глазах-озёрах.

— Да не сверчи ты на меня очами, думаешь, не знаю думы твои? Пустопорожняя, никчёмная, — тоненько передразнила старуха, кривляясь, как юродивая. — Иди давай отсюда, да живи так, чтоб не стыдно-то было. Мужа вон береги, хороший он у тебя. Дитё возьми на воспитание, ежели потятькаться хошь. А думы свои чёрные прочь гони, а то сожрут, высосут досуха. Поняла?

Злата шмыгнула носом, сама как дитё, и кивнула, улыбаясь робко сквозь слёзы. Потом поклонилась поясно, поблагодарила:

— Спасибо, матушка. И за напутствие ценное. Не побрезгуй, прими гостинцев.

— Ишь, матушкой кличут! — пробурчала хозяйка, но узелок взяла, а монеты опустила в кармашек. — Иди давай. Некогда мне тут с вами.

Князь улыбнулся, тоже поклонился, хоть и не в пояс. Душа словно родилась наново, став как белёное льняное полотно, без капли пятнышка. Он подсадил жену в седло, вскочил следом, усаживаясь сзади. Тронул пятками Гунхильду. Приедут, надо спросить Златушку, хочет ли она, чтоб прибившийся зимой найдёныш жил с ними. А пока можно уютно помолчать, наслаждаясь теплом и разливавшимся спокойствием.

Международный литературный конкурс «Пролёт Фантазии» - [http://fancon.ru](http://fancon.ru/)